

А как плохи и воллиттерации: «эвоном громким расколотых звеньев хрустнет хрупкий хрящ у стекол». Да и «хрупкий хруст» — давно уже сказано А. Белым.

Ничего хорошего нет и в стихах:

1)			
	То	Там	
	То	Здесь,	
	То	Там,	
	То	Тут».	
2)			
	Где	день	
	Дам	тень,	
	Где	тень	
	Дам	день».	

Не редко встречаются противоречивые мысли, несогласованные образы. В одном случае земной «стихии великой не исчерпать никогда», а в другом автор собирается «на колеснице по небу отыскивать берега, пить из ковша Медведицы и ковром турецким выстлать Млечный путь».

Все неудачи А. Безыменского происходят, очевидно, от того, что, по его словам, его «сердце только вагранка», хотя и живая, а мысли—всего только «шуршащий провод», а самые стихи—не более как «гранка».

Не сумел автор обработать даже и заимствованное. Своего же у него ничего нет.

Валерьян Полянский

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ. Железная Пауза.
Владивосток, 1919. Стр 64.

Первая книга стихов Сергея Третьякова только что добралась до Москвы. А выйти была она должна, как говорит довольно напыщенным языком предисловие, в начале 1916 г. Это было бы тогда естественно, теперь же книга—очень хорошая—кажется давнишним и не во время забытым дневником. Здесь собраны

стихи за шесть лет, с 1913. История сложная и даже не без поучительности. Третьяков обладает удивительной, необыкновенно-трагательной серьезностью к своему делу,—да и пишет мало, а над тем, что пишет, как видно, долго сидит и упорно добивается своего. И не будет большой ошибки—его история, как она читается по «Железной Паузе»,—история современника-стихотворца. Первые годы—стихи 1913 и частью 1914—то ли откровенный Северянин,—с Кузминым и без Кузмина, петербургские изящники то же не без малого отразились,—будет символизма — объелись умничаньем—а грубоватость мальчишке прямо по плечу. Выяснять не требуется, и если я вчера видел кирпичника в синих штанах, он тебе, горожанину, такой же родной, как и Подколесин, могу на него ссылаться без сноски: не понимаешь?—так ты просто глуп, любезный!—ведь:

...Я слышу.

Свой игольчатый глаз просовываю
На крышу.

Вольно тебе не уметь делать этого. Темки маленькие, темки-крошки не беспокоят, мир игрушечен—очень красивенький мирок—его еще можно подкрасить. Что до трагизма—он в грубоosti, в филиграни мельтешащих амеб-метафор. Мир пейзажится в мое удовольствие—там, правда, что-то есть, но:

Мы чаю не допили,
Мы бросили тартинки.
На легком Оппеле
На пляж, на пляж!

Банкир что-то где-то проиграл и уже интересуется работой браунинга,—чудак!—«но не весь мир же вы проиграли на бирже?» Глупости и пустяки: вот ковер в гостиной лежит—такой красивый, стоит над ним посидеть и точнейше его записать. И тут мальчик стукается в Маяковского:

Я спала в граммофонных трубах.
На проводах сушила белье.
Сколько тихих и грубых
Входило в мое жилье.

Тут неожиданно начинает выясняться—и автор еще не умеет оценить

всю мрачную серьезность этого предостережения,—что «не в этом дело», и хоть:

Только вихрь фейерверка вращает и...
хлоп:

Слезы римских свечей каплют в бархатный гроб.

хоть это все и так, хоть и:

На лице твоем две фиалки
Продаются на площадях,

а все-таки... а все-таки... мрачно осунувшийся город выпускает своих «закопченых на берег», они, «сплевывая в воду, закачаются домой», и хочешь не хочешь, а сплюнуть придется — и кашаться придется вот так же, точь в точь. И вот на эту-то творческую индивидуальность, характерную чуть ли не отсутствием миросозерцания, наваливается июль четырнадцатого года. Она кричит:

Боженька! Миленький! Маленький! Малюсенький!..

Сидишь на мизинце...

Боишься? Лихорадит? Какой ты грустненький!?

но этот трагический образ всемогущества не мог вырасти в сердце, для которого всемогущество идентифицировалось с собственным автомобилем, тогда и мир, не создавший в свое время — это же была его обязанность, устроить все по хорошему — достаточно солидного противоядия на предмет обезврежения военных неприятностей — этот мир обливается презрением. Кто его обвиняет? — мальчик, которому «нравится шоколад Сюшар». Отсюда начинается ломка и человека, который пишет «Железную Паузу» и поэта в этом человеке. Кочегар оказывается не только составной частью аппаратов для быстрого передвижения, мелочь распадается на тончайшую мелочь: она обращается в пыль. Невольно пейзаж начинает требовать большей внимательности. Грубость становится актуальной силой, с которой ополчается автор на войну, но и ее прорывает:

У одного была мать, у другого невеста,
А у третьего не было никого.

Эта бедность в средствах говорит, что старый способ, филигранированных мелочей, фактически уже погиб, надобно

начинать сначала. Беда Третьякова в том, что он чуть запоздал: этот метод для более счастливых погиб еще до войны. А тут:

Раздавили ведь родину,
Как смородину.

И одной из смородинок была та поэзия, для коей ковер и авто символизовали мир. Мелочь уничтожена, на место ее вперся с трудом некий русифицированный стиль, — полная разруха, одним словом. Но вот он начинает вылезть из этого добра, — «налаживается». Вот хорошее стихотворение «Татьянин день», разберем его по косточкам, все достоинства и недостатки сегодняшнего Третьякова в нем налицо. Смотрите, как это премило начинается:

Где башня Кремль обходит надменно
В тугих реверансах фрейлины свитской,
Я знаю багровые, умные стены
Его — на углу Моховой и Никитской.

И —

И вот приходит она,
С морозу румяна,
Святая Татьяна
С тяжелым бокалом вина.

Но, но, —

И теперь, стаканы стаканом чокая,
Я знаю, что умерли все слова.
Я ведь болен тобою, родная, далекая,
Юродивая Москва...

И здесь, у гранитных бортов океана,
Где тяжко синеет чужая вода,
Хочу, чтоб стало как было всегда:
Чтоб молодо, шало, загульно и пьяно...
Для умных — крапивы, для скучных —
бульяна,
А важным и чванным — большая метла...
Здорово, Татьяна!
Татьяна пришла.

Способы автора неплохи, со стихом он обращается ловко и умело (хоть и чуточку старомодно), но в чем же дело? — что за странное, за немыслимое «всегда» — «молодое, шалое, загульное, пьяное»?.. Этот диковинный вид анакреонтизма, за которым не видно и половины Третьякова, говорит, что его кризис не выживет еще поэтом до конца. До сих пор

его привлекают сами собой словесные построения, до сих пор мыслится поэт, как нечто совершенно обособленное в мире, автономное, и в этой-то автономности только и становящееся тем, что оно есть, до сих пор мелочь, чуть разбухшая лезет к нам и к нему из мира его поэзии.

Резюме: автор чрезвычайно талантлив, надежд на него—целая бездна, но ему еще не год придется выбарахтываться из того бесполезного для мира благополучия, в котором он позабыл свое «всегда».

Сергей Бобров.

**ФЕДОР СОЛОГУБ. Фимиамы. Изд. «Странствующий энтузиаст». Петербург, 1921.
Стр. 105. Ц. 350 р.**

Точно из другого мира звучит в наши буйные и бурные дни успокоенный, мечтательный, тихий голос Сологуба.

Никакие бури, никакие социальные вихри и революции его не затрагивают, не сдвигают с твердой и уверенной позиции. Верный жрец мечты, превращающей дебелую бабу Альдонсу в прекраснейшую из дев Дульцинею, поэт, считающий свое святое ремесло превыше всех человеческих трудов и устремлений, лирик, глубоко замкнутый в свой собственный мир от всего внешнего, Сологуб едва ли не единственный в наши дни, настойчиво и убежденно повторяет:

Мои безбурны небеса.
В блаженном свете вдохновенья
Какая радость и краса.

Он верит, что перед ним растворятся настежь двери рая, когда на вопрос о земной жизни, он просто и мудро ответит: «слагал романы и стихи».

И разве есть иное дело,
Иная цель, иной завет?

Новая книжка стихов Сологуба не прибавляет новых лавров в его венок. Она только говорит о том, как непоколебим он на своих старых позициях.

Д. Выгодский.

**М. ЗЕНКЕВИЧ. Пашня танков. Саратов, 1921.
Стр. 32.—Н. ЛЕПОК и Б. ПЕРЕЛЕШИН. Фуисты, Мозговой разжиг, стр. 16. Мск.—
Д. ВИЛЕНСКИЙ, На! Моск., 1922, стр. 40.
Прод. ц. 10 т. р.—Г. СИДОРОВ, Стебли; К-во „Кино. Мск., стр. 16. Прод. ц. 10 т. р.—
„ЭКСПРЕССИОНИСТЫ“ (Е. Габрилович, Б. Лапин, С. Спасский, И. Соколов), К-во „Сад академа“. Мск., 1921, стр. 19. Прод. ц. 5 т. р.—АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ОСОБНЯКА“, № 1, янв. 1922, Мск. 32. Прод. цена 15 т. р.—„ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ“, 2 сборник, К-во „Сопо“; Мск., 1922; стр. 32. Прод. ц. 7 т. р.—Н. ЗАХАРОВ-МЕНСКИЙ Печали. Стихи. 1918—22 гг., предисловие В. А. Гиляровского, К-во „Неоклассики“, Мск., стр. 32. Прод. ц. 10 т. р.**

Надо полагать, скоро придется уже рецензировать не тех, кто пишет стихи, а тех, кто их не пишет. Так и будем писать: «Новое культурное начинание: Райполитпросвет обнаружил среди крестьян энской волости, выполнившей продналог полностью, одного молодого человека 19 лет, который стихов не пишет; герою труда постановлено выдавать пожизненно антиакадемический паек мощностью в два миллиона больших калорий», а дальше описание того, как он не пишет стихов и чего он не пишет. Кроме же вышеупомянутого искомого юноши, все остальные стихи пишут, без конца и без краю. Вот тут восемь брошюрок, а участников в них ровно тридцать шесть человек... и это еще не все москвики начинающие (из известных имен тут двое - трое). Конечно, оно отсортируется: часть пойдет в газетку и в кабарэ, часть займется какими-либо социально-полезными ремеслами, бросив неприбыльное занятие... но все-таки, зачем они все печатаются? Чем объясняется эта дамаскированная—по Брюсову — в своей общедоступности страсть к столь недоступному ныне печатному станку,—явление, несомненно, болезненное и в этой болезненности чрезвычайно жалкое. Исключая «имена», скажем гипотетически: ведь не все же эти тридцать человек настолько глупы, чтобы не видеть, чтобы добрая половина из них не то что стихов, а дельного прошения в Отсобез не сумеет написать,—нет сомнения отсюда, что вид за-